

Как я стал писателем.

Вышло это так просто и неторжественно, что я и не заметил. Можно сказать, вышло непредумышленно.

Теперь, когда это вышло на самом деле, кажется мне порой, что я не делался писателем, а будто всегда им был, только — писателем «без печати».

Помнится, нянька, бывало, говорила: — И с чего ты такая балаболка? Мелет-мелет невесть чего... как только язык у тебя не устает, балаболка!..

Живы во мне доныне картинки детства, обрывки, миги. Вспомнится вдруг игрушка, кубик с ободранной картинкой, складная азбучка с буквой, похожей на топорик или жука, солнечный луч на стенке, дрожащий зайчиком... Ветка живой березки, выросшей вдруг в кроватке у образа, зеленой такой, чудесной. Краска на дудочке из жести, расписанной ярко розами, запах и вкус ее, смешанный с вкусом крови от расцарапанной острым краем губки, черные тараканы на полу, собравшиеся залезть ко мне, запах кастрюльки с кашкой... Боженька в уголке с лампадкой, лепет непонимаемой молитвы, в которой светится «деворадуйся»...

Я говорил с игрушками — живыми, с чурбачками и стружками, которые пахли «лесом» — чем-то чудесно-страшным, в котором «волки».

Но и «волки» и «лес» — чудесные. Они у меня мои.

Я говорил с белыми звонкими досками — горы их были на дворе, с зубастыми, как страшные «звери», пилами, с блиставшими в треске топорами, которые грызли бревна. На дворе были плотники и доски. Живые, большие плотники, с лохматыми головами, и тоже живые доски. Все казалось живым, моим. Живая была метла, — бегала по двору за пылью, мерзла в снегу и даже плакала. И половая щетка была живая, похожая на кота на палке. Стояла в углу — «наказана». Я утешал ее, гладил ее волосики.

Все казалось живым, все мне рассказывало сказки, — о, какие чудесные!

Должно быть, за постоянную болтовню прозвали меня в

первом классе гимназии «римский оратор», и кличка эта держалась долго. В балльниках то и дело отмечалось: «Оставлен на полчаса за постоянные разговоры на уроках».

Это был, так сказать, «дописьменный» век истории моего писательства. За ним вскоре пришел и «письменный».

В третьем, кажется, классе я увлекся романами Жюль Верна и написал — длинное и в стихах! — путешествие наших учителей на Луну, на воздушном шаре, сделанном из необъятных штанов нашего латиниста Бегемота. «Поэма» моя имела большой успех, читали ее даже и восьмиклассники, и она наконец попала в лапы к инспектору. Помню пустынный зал, иконостас у окон, в углу налево, шестая моя гимназия! — благословляющего детей Спасителя — и высокий, сухой Баталин, с рыжими бакенбардами, трясет над моей стриженной головой тонким костлявым пальцем с отточенным остро ногтем, и говорит сквозь зубы — ну прямо цедит! — ужасным, свистящим голосом, втягивая носом воздух, — как самый холодный англичанин:

- И ссто-с такое., и сс... таких лет, и сс... так неуважительно отзывается, сс... так пренебрежительно о сстарсских... о наставниках, об учителях... нашего поосстенного Михаила Сергеевича, сына такого нашего великого историка позволяеcс себе называть... Мартысской!.. По решению педагогического совета...

Гонорар за эту «поэму» я получил высокий — на шесть часов «на воскресенье», на первый раз.

Долго рассказывать о первых моих шагах. Расцвел я пышно на сочинениях. С пятого класса я до того развился, что к описанию храма Христа Спасителя как-то приплел... Надсона! Помнится, я хотел выразить чувство душевного подъема, которое охватывает тебя, когда стоишь под глубокими сводами, где парит Саваоф, «как в небе», и вспоминаются ободряющие слова нашего славного поэта и печальника Надсона:

Друг мой, брат мой... усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был — не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей...

Баталин вызвал меня под кафедру и, потрясая тетрадкой, начал пилить со свистом:

- Сто-с такое?! Напрасно сситаєте книзки, не включенные в усенисескую библиотеку! У нас есть Пушкин, Лермонтов, Державин... но никакого вашего Надсона... нет! Сто такой и кто такой... На-дсон. Вам дана тема о храме Христа Спасителя, по плану... а вы приводите ни к сселу "ни к городу какого-то «страдающего брата»... какие-то вздорные стихи! Было бы на четверку, но я вам ставлю три с минусом. И зачем только тут какой-то «философ»... с «в» на конце! — «филосов-в Смальс»! Слово «философ» не умеете написать, пишете через «в», а в философию пускаетесь? И во-вторых, был Смайс, а не Смальс, что значит - свиное сало! И никакого отношения он, как и ваш Надсон, — он говорил, ударяя на первый слог, — ко храму Христа Спасителя не имели! Три с минусом! Ступайте и задумайтесь.

Я взял тетрадку и попробовал отстоять свое:

- Но это, Николай Иванович... тут лирическое отступление у меня, как у Гоголя, например.

Николай Иванович потянул строго носом, отчего его рыжие усы поднялись и показались зубки, а зеленоватые и холодные глаза так уставились на меня, с таким выражением усмешки и даже холодного презрения, что во мне все похолодело. Все мы знали, что это — его улыбка: так улыбается лисица, перегрызая горлышко петушку.

- Ах, во-от вы ка-ак... Гоголь!., или, может быть, гоголь-моголь? — Вот как... — и опять страшно потянул носом. — Дайте сюда тетрадку...

Он перечеркнул три с минусом и нанес сокрушительный удар — колом! Я получил кол и — оскорбление. С тех пор я возненавидел и Надсона и философию. Этот кол испортил мне пересадку и средний балл, и меня не допустили к экзаменам: я остался на второй год. Но все это было к лучшему.

Я попал к другому словеснику, к незабвенному Федору Владимировичу Цветаеву. И получил у него свободу: пиши как хочешь!

И я записал ретиво, — «про природу». Писать классные сочинения на поэтические темы, например, — «Утро в лесу»,

«Русская зима», «Осень по Пушкину», «Рыбная ловля», «Гроза в лесу»... — было одно блаженство. Это было совсем не то, что любил задавать Баталин: не «Труд и любовь к ближнему, как основы нравственного совершенствования», не «Чем замечательно послание Ломоносова к Шувалову „О пользе стекла“» и не «Чем отличаются союзы от наречий». Плотный, медлительный, как будто полусонный, говоривший чуть-чуть на «о», посмеивающийся чуть глазом, благодушно, Федор Владимирович любил «слово»: так, мимоходом будто, с ленцою русской, возьмет и прочтет из Пушкина.. Господи, да какой же Пушкин! Даже Данилка, прозванный Сатаной, и тот проникнется чувством.

Имел он песен дивный дар

И голос, шуму вод подобный, —

певуче читал Цветаев, и мне казалось, что — для себя.

Он ставил мне за «рассказы» пятерки с тремя иногда крестами, — такие жирные! — и как-то, тыча мне пальцем в голову, словно вбивал в мозги, торжественно изрек:

— Вот что, муж-чи-на... — а некоторые судари пишут «муш-чи-на», как, например, зрелый му-жи-чи-на Шкро-бов! — у тебя есть что-то... некая, как говорится, «шишка». Притчу о талантах... пом-ни!

С ним, единственным из наставников, поменялись мы на прощанье карточками. Хоронили его — я плакал. И до сего дня — он в сердце.

И вот — третий период, уже «печатный».

От «Утра в лесу» и «Осени по Пушкину» я перешел незаметно к «собственному».

Случилось это, когда я кончил гимназию. Лето перед восьмым классом я провел на глухой речушке, на рыбной ловле. Попал на омут, у старой мельницы. Жил там глухой старик, мельница не работала. Пушкинская «Русалка» вспоминалась. Так меня восхитило запустенье, обрывы, бездонный омут «с сомом», побитые грозою, расщепленные ветлы, глухой старик — из «Князя Серебряного» мельник!.. Как-то на ранней зорьке, ловя подлещиков, я тревожно почувствовал — что-то во мне забилося, зашепило, дышать мешало. Мелькнуло что-то неясное. И — прошло. Забыл. До глубокого сентября я ловил

окуней, подлещиков. В ту осень была холера, и ученье было отложено. Что-то — не приходило. И вдруг, в самую подготовку на аттестат зрелости, среди упражнений с Гомером, Софоклом, Цезарем, Вергилием, Овидием Назоном... — что-то опять явилось! Не Овидий ли натолкнул меня? не его ли «Метаморфозы» — чудо!

Я увидел мой омут, мельницу, разрытую плотину, глинистые обрывы, рябины, осыпанные кистями ягод, деда... Помню, — я отшвырнул все книги, задохнулся... и написал — за вечер — большой рассказ. Писал я «с маху». Правил и переписывал, — и правил. Переписывал отчетливо и крупно. Перечитал... — и почувствовал дрожь и радость. Заглавие? Оно явилось само, само очертилось в воздухе, зелено-красное, как рябина — там. Дрожащей рукой я вывел: У мельницы.

Это было мартовским вечером 1894 года. Но и теперь еще помню я первые строчки первого моего рассказа:

«Шум воды становился все отчетливей и громче: очевидно, я подходил к запруде. Вокруг рос молодой, густой осинник, и его серые стволы стояли передо мною, закрывая шумевшую неподалеку речку. С треском я пробирался чащей, спотыкался на остренькие пеньки осинового сухостоя, получал неожиданные удары гибких веток...»

Рассказ был жуткий, с житейской драмой, от «я». Я сделал себя свидетелем развязки, так ярко, казалось, сделал, что поверил собственной выдумке. Но что же дальше? Литераторов я совсем не знал. В семье и среди знакомых было мало людей интеллигентных. Я не знал и «как это делается» — как и куда послать. Не с кем мне было посоветоваться: почему-то и стыдно было. Скажут еще: «Э, пустяками занимаешься!» Газет я еще не читал тогда, — «Московский листок» разве, но там было смешное только или про «Чуркина». Сказать по правде, я считал себя выше этого. «Нива» не пришла в голову. И вот вспомнилось мне, что где-то я видел вывесочку, узенькую совсем: «Русское обозрение», ежемесячный журнал. Буквы были — славянские? вспоминал-вспоминал... — и вспомнил, что на Тверской. Об этом журнале я ничего не знал. Восьмиклассник, почти студент, я не знал, что есть «Русская мысль», в Москве. С неделю я колебался: вспомню про «Русское

обозрение» — так и похолодею и обожгусь. Прочитаю «У мельницы» — ободрюсь. И вот я пустился на Тверскую — искать «Русское обозрение». Не сказал никому ни слова.

Помню, прямо с уроков, с ранцем, в тяжелом ватном пальто, сильно повыгоревшем и пузырившемся к полам, — я его все донашивал, поджидая студенческого, чудесного! — приоткрыл огромную, под орех, дверь и сунул голову в щель, что-то проговорил кому-то. Там скучно крякнуло. Сердце во мне упало: крякнуло будто строго?.. Швейцар медленно шел ко мне. Пожалуйста... желают вас сами видеть.

Чудесный был швейцар, с усами, бравый! Я сорвался с диванчика и, как был, — в грязных, тяжелых ботинках, с тяжелым ранцем, ремни которого волоклись со звоном, — все вдруг отяжелело! — вступил в святилище.

Огромный, очень высокий кабинет, огромные шкафы с книгами, огромный письменный стол, исполинская над ним пальма, груды бумаг и книг, а за столом, широкий, красивый, грузный и строгий — так показалось мне, — господин, профессор, с сидящими по плечам кудрями. Это был сам редактор, приват-доцент Московского университета Анатолий Александров. Он встретил меня мягко, но с усмешкой, хотя и ласково:

Ага, принесли рассказ?.. А в каком вы классе? Кончаете... Ну, что же... поглядим. Многонько написали... — взвесил он на руке тетрадку. — Ну, зайдите месяца через два...

Я зашел в самый разгар экзаменов. Оказалось, что надо «заглянуть месяца через два». Я не заглянул. Я уже стал студентом. Другое пришло и захватило — не писанье. О рассказе я позабыл, не верил. Пойти? Опять: «Месяца через два зайдите».

Уже в новом марте я получил неожиданно конверт — «Русское обозрение» — тем же полуцерковным шрифтом. Анатолий Александров просил меня «зайти переговорить». Уже юным студентом вошел я в чудесный кабинет. Редактор учтиво встал и через стол протянул мне руку, улыбаясь.

Поздравляю вас, ваш рассказ мне понравился. У вас довольно хороший диалог, живая русская речь. Вы чувствуете русскую природу. Пишите мне.

Я не сказал ни слова, ушел в тумане. И вскоре опять забыл. И совсем не думал, что стал писателем.

В первых числах июля 1895 года я получил по почте толстую книгу в зелено-голубой — ? — обложке — «Русское обозрение», июль. У меня тряслись руки, когда раскрывал ее. Долго не находил, — все прыгало. Вот оно: «У мельницы», — самое то, мое! Двадцать с чем-то страниц — и, кажется, ни одной поправки! ни пропуска! Радость? Не помню, нет... Как-то меня пришибло... поразило? Не верилось.

Счастлив я был — два дня. И — забыл. Новое приглашение редактора — «пожаловать». Я пошел, не зная, зачем я нужен.

Вы довольны? — спросил красивый профессор, предлагая кресло. — Ваш рассказ многим понравился. Будем рады дальнейшим опытам. А вот и ваш гонорар... Первый? Ну, очень рад.

Он вручил мне... во-семь-де-сят рублей! Это было великое богатство: за десять рублей в месяц я ходил на урок через всю Москву. Я растерянно сунул деньги за борт тужурки, не в силах промолвить ни слова.

Вы любите Тургенева? Чувствуется, у вас несомненное влияние «Записок охотника», но это пройдет. У вас и свое есть. Вы любите наш журнал?

Я что-то прошептал, смущенный. Я и не знал журнала: только «июль» и видел.

Вы, конечно, читали нашего основателя, славного Константина Леонтьева... что-нибудь читали?..

Нет, не пришлось еще, — проговорил я робко.

Редактор, помню, выпрямился и поглядел под пальму, — пожал плечами. Это его, кажется, смутило.

Теперь... — посмотрел он грустно и ласково на меня, — вы обязаны его знать. Он откроет вам многое. Это, во-первых, большой писатель, большой художник... — Он стал говорить-говорить... — не помню уже подробности — что-то о «красоте», о Греции... — Он великий мыслитель наш, русский необычайный! — восторженно заявил он мне. — Видите — этот стол?.. Это его стол! — И он благоговейно погладил стол, показавшийся мне чудесным. — О, какой светлый дар, какие песни пела его душа! — нежно сказал он в пальму. И

вспомнилось мне недавнее:

Имел он песен дивный дар,
И голос, шуму вод подобный.

- И эта пальма — его!

Я посмотрел на пальму, и она показалась мне особенно чудесной.

— Искусство, — продолжал говорить редактор, — прежде всего — благо-говение! Искусство... ис-кус! Искусство — молитвенная песнь. Основа его — религия. Это всегда, у всех. У нас — Христово слово! «И Бог бе слово». И я рад, что вы начинаете в его доме... в его журнале. Как-нибудь заходите, я буду давать вам его творения. Не во всякой они библиотеке... Ну-с, молодой писатель, до сви-да-ния. Желаю вам...

Я пожал ему руку, и так мне хотелось целовать его, послушать о нем, неведомом, сидеть и глядеть на стол. Он сам проводил меня.

Я ушел опьяненный новым, чувствуя смутно, что за всем этим моим — случайным? — есть что-то великое и священное, незнаемое мною, необычайно важное, к чему я только лишь прикоснулся.

Шел я как оглушенный. Что-то меня томило. Прошел Тверскую, вошел в Александровский сад, присел. Я — писатель. Ведь я же выдумал весь рассказ!.. Я обманул редактора, и за это мне дали деньги!.. Что я могу рассказывать? Ничего. А искусство — благоговение, молитва... А во мне ничего-то нет. Деньги, во-семь-десят рублей... за это!.. Долго сидел я так, в раздумье. И не с кем поговорить... У Каменного моста зашел в часовню, о чем-то помолился. Так бывало перед экзаменом.

Дома я вынул деньги, пересчитал. Во-семьдесят рублей... Взглянул на свою фамилию под рассказом, — как будто и не моя! Было в ней что-то новое, совсем другое. И я — другой. Я впервые тогда почувствовал, что — другой. Писатель? Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал: что-то я должен сделать, многое узнать, читать, вглядываться и думать... — готовиться. Я — другой, другой.